

А. И. Герцен: БЫЛОЕ И ДУМЫ

Н. П. Огареву

В этой книге всего больше говорится о двух личностях. Одной уже нет, - ты еще остался, а потому тебе, друг, по праву принадлежит она.

*Искандер
1 июля 1860.
Eagles Nest, Bournemouth*

ГЛАВА III

Смерть Александра I и 14 декабря. - Нравственное пробуждение. - Террорист Буша. - Корчевская кухня.

Одним зимним утром, как-то не в свое время, приехал Сенатор; озабоченный, он скорыми шагами прошел в кабинет моего отца и запер дверь, показавши мне рукой, чтоб я остался в зале.

По счастью, мне недолго пришлось ломать голову, догадываясь, в чем дело. Дверь из передней немного приотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьим мехом ливрейной шубы; шепотом подзывало меня; это был лакей Сенатора, я бросился к двери.

- Вы не слышали? - спросил он.

- Чего?

- Государь помер в Таганроге.

Новость, эта поразила меня; я никогда прежде не думал о- возможности его смерти; я вырос в большом уважении к Александру и грустно вспоминал, как я его видел незадолго перед тем в Москве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой; он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с Ходынки, где были маневры. Лицо его было приветливо, черты мягки и округлы, выражение лица усталое и печальное. Когда он поравнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее; он, улыбаясь, поклонился мне. Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную и взлызистую медузу с усами! Он на улице, во дворце, с своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи - останавливать кровь в жилах. Если наружная кротость Александра была личина, - не лучше ли такое лицемерие; чем наглая откровенность самовластья?

...Пока смутные мысли бродили у меня в голове и в Лавках продавали

портреты императора Константина, пока носились повестки о присяге и добрые люди торопились поклясться, "разнесся слух об отречении цесаревича. Вслед за тем тот же лакей Сенатора, большой охотник до политических новостей и которому было где их собирать по всем передним сенаторов и присутственных мест, по которым он ездил с утра до ночи, не имея выгоды лошадей, которые менялись после обеда; сообщил мне, что в Петербурге был бунт и что по Галерной стреляли "в пушки".

На другой день вечером был у нас жандармский генерал граф Комаровский; он рассказывал о каре на Исаакиевской площади, о конногвардейской атаке, о смерти графа Милорадовича.

А тут пошли аресты: "того-то взяли", "того-то схватили", "того-то привезли из деревни"; испуганные родители трепетали за детей. Мрачные тучи заволочли небо.

В царствование Александра политические гонения были редки; он сослал, правда, Пушкина за его стихи и Лабзина за то, что он, будучи конференц-секретарем в Академии художеств, предложил избрать кучера Илью Байкова в члены Академии; но систематического преследования не было. Тайная полиция не разрасталась еще в самодержавный корпус жандармов, а состояла из канцелярии над начальством старого вольтерьянца, остряка и болтуна и юмориста, вроде Куи - де-Санглена. При Николае де-Санглен попал сам под надзор полиции и считался либералом, оставаясь тем же, чем был; по одному этому легко вымерить разницу царствований.

Николая вовсе не знали до его воцарения; при Александре он ничего не значил и никого не занимал. Теперь все бросилось расспрашивать о нем; одни гвардейские офицеры могли дать ответ; они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педанство, за злопамятность. Один из первых анекдотов, разнесшихся по городу, больше нежели подтверждал мнение гвардейцев. Рассказывали, что как-то на ученье великий князь до того забьлся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: "Ваше величество, у меня шпага в руке". Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастью, он не был замешан.

Тон общества менялся наглазно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже - бескорыстно.

Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких... и у креста стояли одни женщины, и у кровавой гильотины является - то Люсиль Демулен, эта Офелия революции, бродящая возле топора, ожидая свой черед, то Ж. Санд, подающая на эшафоте руку участия и дружбы фанатическому юноше Алибо.

Жены сосланных в каторжную работу лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь неволи в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции.

Сестры, не имевшие права ехать, удалялись от двора, многие оставили Россию; почти все хранили в душе живое чувство любви к страдальцам; но его не было у мужчин, страх выел его в их сердце, никто не смел заикнуться о несчастных.

Коснувшись до этого предмета, я не могу удержаться, чтоб не сказать несколько слов об одной из этих героических историй, которая очень мало известна.

В старинном доме Ивашевых жила молодая француженка гувернантой. Единственный сын Ивашева хотел на ней жениться. Это свело с ума всю родню его: гвалт, слезы, просьбы. У француженки не было налицо брата Чернова, убившего на дуэли Новосильцева и убитого им; ее уговорили уехать из Петербурга, его - отложить до поры до времени свое намерение. Ивашев был одним из энергических заговорщиков; его приговорили к вечной каторжной работе. От этой mesalliance родня не спасла его. Как только страшная весть дошла до молодой девушки в Париж, она отправилась в Петербург и попросила дозволения ехать в Иркутскую губернию к своему жениху Ивашеву. Бенкендорф попытался отклонить ее от такого преступного намерения; ему не удалось, и он доложил Николаю. Николай велел ей объяснить положение жен, не изменивших мужьям, сосланным в каторжную работу, присовокупляя, что он ее не держит, но что она должна знать, что если жены, идущие из верности с своими мужьями, заслуживают некоторого снисхождения, то она не имеет на это ни малейшего права, сознательно вступая в брак с преступником.

Она и Николай сдержали слово: она отправилась в Сибирь - он ничем не облегчил ее судьбу.

Царь был строг, но справедлив.

В крепости ничего не знали о позволении, и бедная девушка, добравшись туда, должна была ждать, пока начальство опишется с Петербургом, в каком-то местечке, населенном всякого рода бывшими преступниками, без всякого средства узнать что-нибудь об Ивашеве и дать ему весть о себе.

Мало-помалу она ознакомилась с своими новыми товарищами. Между ними был сосланный разбойник; он работал в крепости, она рассказала ему свою историю. На другой день разбойник принес ей записочку от Ивашева. Через день он предложил ей носить от Ивашева вести и брать ее записки. С утра он должен был работать в крепости до вечера; когда наступала ночь, он брал письмо Ивашева и отправлялся, несмотря ни на бураны, ни на свою усталость, и возвращался к рассвету на свою работу.

Наконец, пришло позволение, их обвенчали. Через несколько лет каторжная работа заменилась поселением. Положение их несколько улучшилось, но силы были потрачены; жена первая пала под бременем всего испытанного. Она увяла, как должен был увянуть цветок полуденных стран на сибирском снегу. Ивашев не пережил ее, он умер ровно через год после нее, но и тогда он уже не был здесь; его письма (поразившие Третье отделение) носили след какого-то безмерно грустного, святого лунатизма, мрачной поэзии; он, собственно, не жил после нее, а тихо, торжественно умирал.

Это "житие" не оканчивается с их смертью. Отец Ивашева, после ссылки сына, передал свое имение не законному сыну, прося его не забывать бедного брата в помогать ему. У Ивашевых осталось двое детей, двое малюток

без имени, двое будущих кантонистов, посельщиков в Сибири -без помощи, без прав, без отца и матери. Брат Ивашева испросил у Николая позволение взять детей к себе; Николай разрешил. Через несколько лет он рискнул другую просьбу, он ходатайствовал о возвращении им имени отца; удалось и это.

Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.

Все ожидали облегчения в судьбе осужденных,- коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха. Николай уехал из Петербурга и, не въезжая в Москву, остановился в Петровском дворце... Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в "Московских ведомостях" страшную новость 14 июля.

Народ русский отвык от смертных казней: после Мировича, казненного вместо Екатерины II, после Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь de jure не существовала. Рассказывают, что при Павле на Дону было какое-то частное возмущение казаков, в котором замешались два офицера. Павел велел их судить военным судом и дал полную власть гетману или генералу. Суд приговорил их к смерти, но никто не осмелился утвердить приговор; гетман представил дело государю. "Все они бабы, - сказал Павел, - они хотят свалить казнь на меня, очень благодарен", - и заменил ее каторжной работой.

Николай ввел смертную казнь в наше уголовное законодательство сначала незаконно, а потом привенчал ее к своему своду.

Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле. Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торжественный въезд в Москву. Я тут видел его в первый раз; он ехал верхом возле кареты, в которой сидели вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая на счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное - глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Я не верю, чтоб он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены; он "пребывал к ним благосклонен", не больше.

В Ватикане есть новая галерея, в которой, кажется, Пий VII собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами; от дочерей Августа до Пoppеи матроны успели превратиться в лореток, и тип лоретки побеждает и остается; мужской тип, перейдя, так сказать, самого себя в Антиное и Гермафродите, двойится: с одной стороны, плотское и

нравственное падение, загрязненные черты развратом и обжорством, кровью и всем на свете, безо лба, мелкие, как у гетеры Гелиогабала, идя с опущенными щеками, как у Галбы; последний тип чудесно воспроизвелся в неаполитанском короле. Но есть и другой - это тип военачальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое, и осталась одна страсть - повелевать; ум узок, сердца совеем нет - это монахи властолюбия, в их чертах видна сила и суровая воля. Таковы гвардейские и армейские императоры, которых крамольные легионеры ставили на часы к империи. В их-то числе я нашел много голов, напоминающих Николая, когда он был без усов. Я понимаю необходимость этих угрюмых и непреклонных стражей возле умирающего в бешенстве, но зачем они возникающему, юному?

Несмотря на то что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал, в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая; отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его. Я очень помню, как во время коронации он шел возле бледного Николая, с насупившимися светло-желтого цвета взъерошенными бровями, в мундире литовской гвардии с желтым воротником, сгорбившись и поднимая плечи до ушей. Обвенчавши, в качестве отца посаженного, Николая с Россией, он уехал додразнивать Варшаву. До 29 ноября 1830 года о нем не было слышно.

Некрасив был мой герой, такого типа и в Ватикане не сыщешь. Я бы этот тип назвал гатчинским, если б не видал сардинского короля.

Само собою разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего, мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение; я слишком гордо сознавал себя "злоумышленником", чтоб молчать об этом или чтоб говорить без разбора.

Первый выбор пал на русского учителя.

И. Е. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами; "Дай бог, чтоб эти чувства созрели в вас и укрепились". Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина "Ода на свободу", "Кинжал", "Думы" Рыльева; я их переписывал тайком... (а теперь печатаю явно!)

Разумеется, что и чтение мое переменялось. Политика вперед, а главное - история революции; я ее знал только по рассказам m-me Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю девяностых годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, четырнадцати лет, ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на

толстую сучковатую палку.

- Зачем, - спросил я его середь урока, - казнили Людовика XVI?

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

- Parce qu'il a ete traire a la patrie.

- Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор?

- Обеими руками.

Этот урок стоил всяких субжонктивов; для меня было довольно: ясное дело, что поделом казнили короля. Старик Бушо не любил меня и считал пустым шалуном за то, что я дурно приготавливал уроки, он часто говаривал: "Из вас ничего не выйдет", но когда заметил мою симпатию к его идеям regicides, он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и как он уехал из Франции, когда "развратные и плуты" взяли верх. Он с тою же важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил:

- Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас.

К этим педагогическим поощрениям и симпатиям вскоре присовокупилась симпатия более теплая и имевшая сильное влияние на меня.

В небольшом городке Тверской губернии жила внучка старшего брата, моего отца. Я ее знал с самых детских лет, но виделись мы редко; она приезжала раз в год я святки или об масленицу погостить в Москву с своей теткой. Тем не менее мы сблизились. Она была лет пять старше меня, но так мала ростом и моложава, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбил за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человечески, то есть не удивлялась беспрестанно тому, что я вырос, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочу ли в военную службу и в какой полк, а говорила со мной так как люди вообще говорят между собой, ее оставляя, впрочем, докторальный авторитет, который девушки любят сохранять над мальчиками несколько лет моложе их.

Мы переписывались, и очень, с 1824 года, но письма - это опять перо и бумага, опять учебный стол-с чернильными пятнами я иллюстрациями, вырезанными перочинным ножом; мне хотелось ее видеть, говорить с ней о новых идеях - и потому можно себе представить, с каким восторгом я услышал, что кузина приедет в феврале (1826) и будет у нас гостить несколько месяцев. Я на своем столе нацарапал числа до ее приезда и смарывал прошедшие, иногда намеренно забывая дни три, чтоб иметь удовольствие разом вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго, потом и срок прошел, и новый был назначен, и тот прошел, как всегда бывает.

Мы сидели раз вечером с Иваном Евдокимовичем в моей учебной комнате, и Иван Евдокимович, по обыкновению запивая кислыми щами всякое предложение, толковал о "гексаметре", страшно рубя на стопы голосом я рукой каждый стих из гнедичевой "Илиады", - вдруг на дворе снег завизжал как-то иначе, чем от городских саней, подвязанный колокольчик позванивал остатком голоса, говор на дворе... я вспыхнул в лице, мне было не до рубленного гнева "Ахиллеса, Пелеева сына", я бросился стремглав в переднюю, а тверская кузина,

закутанная в шубах, шалях, шарфах, в капоре и в белых мохнатых сапогах, красная от морозу, а может, и от радости, бросилась меня целовать.

Люди обыкновенно вспоминают о первой молодости, о тогдашних печалях и радостях немного с улыбкой снисхождения, как будто они хотят, жеманясь, как Софья Павловна в "Горе от ума", сказать: "Ребячество!" Словно они стали лучше после, сильнее чувствуют или больше. Дети года через три стыдятся своих игрушек,- пусть их, им хочется быть большими, они так быстро растут, меняются, они это видят по курточке и по страницам учебных книг; а, кажется, совершеннолетним можно бы было понять, что "ребячество", с двумя-тремя годами юности - самая полная, самая изящная, самая наша часть жизни, да и чуть ли не самая важная, она незаметно определяет все будущее.

Пока человек идет скорым шагом вперед, не останавливаясь, не задумываясь, пока не пришел к оврагу или не сломал себе шеи, он все полагает, что его жизнь впереди, свысока смотрит на прошедшее и не умеет ценить настоящего. Но когда опыт прибил весенние цветы и остудил летний румянец, когда он догадывается, что жизнь, собственно, прошла, а осталось ее продолжение, тогда он иначе возвращается к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости.

Природа с своими вечными уловками и экономическими хитростями дает юность человеку, но человека сложившегося берет для себя, она его втягивает, впутывает в ткань общественных и семейных отношений, в три четверти не зависящих от него, он, разумеется, дает своим действиям свой личный характер, но он гораздо меньше принадлежит себе, лирический элемент личности ослаблен, а потому и чувства и наслаждение - все слабее, кроме ума и воли.

Жизнь кузины шла не по розам. Матери она лишилась ребенком. Отец был отчаянный игрок и, как все игроки по крови, - десять раз был беден, десять раз был богат и кончил все-таки тем, что окончательно разорился. Les beaux restes своего достояния он посвятил конскому заводу, на который обратил все свои помыслы и страсти. Сын его, уланский юнкер, единственный брат кузины, очень добрый юноша, шел прямым путем к гибели: девятнадцати лет он уже был более страстный игрок, нежели отец.

Лет пятидесяти, без всякой нужды, отец женился на застарелой в девстве воспитаннице Смольного монастыря. Такого полного, совершенного типа петербургской институтки мне не случалось встречать. Она была одна из отличнейших учениц и потом классной дамой в монастыре; худая, белокурая, подслепая, она в самой наружности имела что-то дидактическое и назидательное. Вовсе не глупая, она была полна ледяной восторженности на словах, говорила готовыми фразами о добродетели и преданности, знала на память хронологию и географию, до противной степени правильно говорила по-французски и таила внутри самолюбие, доходившее до искусственной, иезуитской скромности. Сверх этих общих черт "семинаристов в желтой шали", она имела чисто невские или смольные. Она поднимала глаза к небу, полные слез, говоря о посещениях их общей матери (императрицы Марии Феодоровны), была влюблена в императора Александра и, помнится, носила медальон или перстень с отрывком из письма императрицы Елизаветы: "И a repris son sourire de bienveillance!". Можно себе представить стройное trio, составленное из

отца-игрока и страстного охотника до лошадей, цыган, шума, пиров, скачек и бегов, дочери, воспитанной в совершенной независимости, привыкшей делать что хотелось в доме, и ученой девы, вдруг сделавшейся из пожилых наставниц молодой супругой. Разумеется, она не любила падчерицу, разумеется, что падчерица ее не любила. Вообще между женщинами тридцати пяти лет и девушками семнадцати только тогда бывает большая дружба, когда первые самоотверженно решаются не иметь пола.

Я несколько не удивляюсь обыкновенной вражде между падчерицами и мачехами, она естественна, она нравственна. Новое лицо, вводимое вместо матери, вызывает со стороны детей отвращение. Второй брак - вторые похороны для них. В этом чувстве ярко выражается детская любовь, она шепчет сиротам: "Жена твоего отца вовсе не твоя мать". Христианство сначала понимало, что с тем понятием о браке, которое оно развивало, с тем понятием о бессмертии души, которое оно проповедовало, второй брак - вообще нелепость; но, делая постоянно уступки миру, церковь перехитрила и встретила с неумолимой логикой жизни - с простым детским сердцем, практически восставшим против благочестивой нелепости считать подругу отца - своей матерью.

С своей стороны и женщина, встречающая, выходя из-под венца, готовую семью, детей, находится в неловком положении; ей нечего с ними делать, она должна натянуть чувства, которых не может иметь, она должна уверить себя и других, что чужие дети ей так же милы, как свои.

Я, стало быть, вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за их взаимную нелюбовь, но понимаю, как молодая девушка, не привыкшая к дисциплине, рвалась куда бы то ни было на волю из родительского дома. Отец, начинавший стариться, больше и больше покорялся ученой супруге своей; улан, брат ее, шалил хуже и хуже, словом, дома было тяжело, и она, наконец, склонила мачеху отпустить ее на несколько месяцев, а может, и на год, к нам.

На другой день после приезда кузина ниспровергла весь порядок моих занятий, кроме уроков; самодержавно назначила часы для общего чтения, не советовала читать романы, а рекомендовала Сегюрову всеобщую историю и Анахарсисово путешествие. С стоической точки зрения противодействовала она сильным наклонностям моим курить тайком табак, завертывая его в бумажку (тогда папиросы еще не существовали); вообще она любила мне читать морали, - если я их не исполнял, то мирно выслушивал. По счастью, у нее не было выдержки, и, забывая свои распоряжения, она читала со мной повести Цшоке вместо археологического романа и посылала тайком мальчика покупать зимой гречневика и гороховый кисель с постным маслом, а летом - крыжовник и смородину.

Я думаю, что влияние кузины на меня было очень хорошо; теплый элемент взошел с нею в мое келейное отрочество, отогрел, а может, и сохранил едва развертывавшиеся чувства, которые очень могли быть совсем подавлены иронией моего отца. Я научился быть внимательным, огорчаться от одного слова, заботиться о друге, любить; я научился говорить о чувствах. Она поддерживала во мне мои политические стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу, - и я с ребячьим самолюбием верил ей, что я будущий "Брут или Фабриций".

Мне одному она доверила тайну любви к одному офицеру Александрийского гусарского полка, в черном ментике и в черном долмане; это была действительная тайна, потому что и сим гусар никогда не подозревал, командуя своим эскадром, какой чистый огонек теплился для него в груди восемнадцатилетней девушки. Не знаю, завидовал ли я его судьбе, - вероятно, немножко, - но я был горд тем, что она избрала меня своим поверенным, и воображал (по Вертеру), что это одна из тех трагических страстей, которая будет иметь великую развязку, сопровождаемую самоубийством, ядом и кинжалом; мне даже приходило в голову идти к нему и все рассказать.

Кузина привезла из Корчевы воланы, в один из воланов была воткнута булавка, и она никогда не играла другим, и всякий раз, когда он попадался мне или кому-нибудь, брала его, говоря, что она очень к нему привыкла. Демон *espieglerie*, который всегда был моим злым искусителем, наустил меня переменить булавку, то есть воткнуть ее в другой волан. Шалость вполне удалась: кузина постоянно брала тот, в котором была булавка. Недели через две я ей сказал; она переменялась в лице, залилась слезами и ушла к себе в комнату. Я был испуган, несчастен и, подождав с полчаса, отправился к ней; комната была заперта, я просил отпереть дверь, кузина не пускала, говорила, что она больна, что я не друг ей, а бездушный мальчик. Я написал ей записку, умолял простить меня; после чая мы помирились, я у ней поцеловал руку, она обняла меня и тут объяснила всю важность дела. Год тому назад гусар обедал у них и после обеда играл с ней в волан, - его-то волан и был отмечен. Меня угрызала совесть, я думал, что я сделал истинное святотатство.

Кузина оставалась до октября месяца. Отец звал ее назад и обещал через год отпустить ее к нам в Васильевское. Мы с ужасом ждали разлуки, и вот одним осенним днем приехала за ней бричка, и горничная ее понесла класть кузовки и картоны, наши люди уложили всяких дорожных припасов на целую неделю, толпились у подъезда и прощались. Крепко обнялись мы, - она плакала, и я плакал, бричка выехала на улицу, повернула в переулок возле того самого места, где продавали гречневика и гороховый кисель, и исчезла; я походил по двору - так что-то холодно и дурно, взошел в свою комнату - и там будто пусто и холодно, принялся готовить урок Ивану Евдокимовичу, а сам думал - где-то теперь кибитка, проехала заставу или нет?

Одно меня утешало - в будущем июне вместе в Васильевском!

Для меня деревня была временем воскресения, я страстно любил деревенскую жизнь. Леса, поля и воля вольная - все это мне было так ново, выросшему в хлопках, за каменными стенами, не смея выйти ни под каким предлогом за ворота без спроса и без сопровождения лакея...

"Едем мы нынешний год в Васильевское или нет?" Вопрос этот сильно занимал меня с весны. Отец мой всякий раз говорил, что в этом году он уедет рано, что ему хочется видеть, как распускается лист, и никогда не мог собраться прежде июля. Иной год он так опаздывал, что мы совсем не ездили. В деревню писал он всякую зиму, чтоб дом был готов и протоплен, но это делалось больше по глубоким политическим соображениям, нежели серьезно, - для того, чтоб староста и земский, боясь близкого приезда, внимательнее смотрели за хозяйством.

Кажется, что едем. Отец мой говорил Сенатору, что очень хотелось бы ему отдохнуть в деревне и что хозяйство требует его присмотра, но опять проходили недели.

Мало-помалу дело становилось вероятнее, запасы начинали отправляться: сахар, чай, разная крупа, вино - тут снова пауза, и, наконец, приказ старосте, чтоб к такому-то дню прислал столько-то крестьянских лошадей, - итак, едем, едем!

Я не думал тогда, как была тягостна для крестьян в самую рабочую пору потеря четырех или пяти дней, радовался от души и торопился укладывать тетради и книги. Лошадей приводили, я с внутренним удовольствием слушал их жеванье и фырканье на дворе и принимал большое участие в суете кучеров, в спорах людей о том, где кто сядет, где кто положит свои пожитки; в людской огонь горел до самого утра, и все укладывались, таскали с места на место мешки и мешочки и одевались по-дорожному (ехать всего было около восьмидесяти верст!). Всего более раздражен был камердинер моего отца, он чувствовал всю важность укладки, с ожесточением выбрасывал все положенное другими, рвал себе волосы на голове от досады и был неприступен.

Отец мой вовсе не раньше вставал на другой день, казалось, даже позже обыкновенного, так же продолжительно пил кофей и, наконец, часов в одиннадцать приказывал закладывать лошадей. За четвероместной каретой, заложенной шестью господскими лошадьми, ехали три, иногда четыре повозки: коляска, бричка, фура или вместо ее две телеги; все это было наполнено дворовыми и пожитками; несмотря на обозы, прежде отправленные, все было битком набито, так что никому нельзя было порядочно сидеть.

На полдороге мы останавливались обедать и кормить лошадей в большом селе Перхушкове, имя которого лопалось в наполеоновские бюлteni. Село это принадлежало сыну "Старшего брата", о котором мы говорили при разделе. Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженной плоскими безотрадными полями; но мне и эта пыльная даль очень нравилась после городской тесноты. В доме покоробленные полы и ступени лестницы качались, шаги и звуки раздавались резко, стены вторили им будто с удивлением. Старинная мебель из кунсткамеры прежнего владельца доживала свой век в этой ссылке; я + любопытством бродил из комнаты в комнату, ходил вверх, ходил вниз, отправлялся в кухню. Там наш повар приготовлял наскоро дорожный обед с недовольным и ироническим видом. В кухне сидел обыкновенно бурмистр, седой старик с шишкой на голове; повар, обращаясь к нему, критиковал плиту и очаг, бурмистр слушал его и по временам лаконически отвечал: "И то -- пожалуй, что и так" - и невесело посматривал на всю эту тревогу, думая: "Когда нелегкое их пронесет".

Обед подавался на особенном английском сервизе из жести или из какой-то композиции, купленном ad hoc. Между тем лошади были заложены; в передней и в сенях собирались охотники до придворных встреч и проводов: лакеи, оканчивающие жизнь на хлебе и чистом воздухе, старухи, бывшие смазливими горничными лет тридцать тому назад, - вся эта саранча господских домов, поедающая крестьянский труд без собственной вины, как настоящая саранча. С ними приходили дети с светло-палевыми волосами; босые и запачканные, они все

совались вперед, старухи все их дергали назад; дети кричали, старухи кричали на них, ловили меня при всяком случае и всякий год удивлялись, что я так вырос. Отец мой говорил с ними несколько слов; одни подходили к ручке, которую он никогда не давал, другие кланялись, - и мы уезжали.

В нескольких верстах от Вяземы князя Голицына дожидался васильевский староста, верхом, на опушке леса и провожал проселком. В селе, у господского дома, к которому вела длинная липовая аллея, встречал священник, его жена, причетники, дворовые, несколько крестьян и дурак Пронька, который один чувствовал человеческое достоинство, не снимал засаленной шляпы, улыбался, стоя несколько поодаль, и давал стрелка, как только кто-нибудь из городских хотел подойти к нему,,,-

Я мало видал мест изящнее Васильевского. Кто знает Кунцево и Архангельское Юсупова или именье Лопухина против Саввина монастыря, тому довольно сказать, что Васильевское лежит на продолжении того же берега верст тридцать от Саввина монастыря. На отлогой стороне - село, церковь и старый господский дом. По другую сторону - гора и небольшая деревенька, там построил мой отец новый дом. Вид из него обнимал верст пятнадцать кругом; озера нив, колеблясь, стлались без конца; разные усадьбы и села с белеющими церквями видны были там-сям; леса разных цветов делали полукруглую раму, и черезо все - голубая тесьма Москвы-реки. Я открывал окно рано утром в своей комнате наверху и смотрел, и слушал, и дышал.

При всем том мне было жаль старый каменный дом, может, оттого, что я в нем встретился в первый раз с деревней; я так любил длинную, тенистую аллею, которая вела к нему, и одичалый сад возле; дом разваливался, и из одной трещины в сенях росла тоненькая, стройная береза. Налево по реке шла ивовая аллея, за нею тростник и белый песок до самой реки; на этом песке и в этом тростнике игрывал я, бывало, целое утро - лет одиннадцати, двенадцати. Перед домом сиживал почти всегда сгорбленный старик садовник, троил мятную воду, отваривал ягоды и тайком кормил меня всякой овощью. В саду было множество ворон; гнезда их покрывали макушки деревьев, они кружились около них и каркали; иногда, особенно к вечеру, они вспархивали целыми сотнями, шумя и поднимая других; иногда одна какая-нибудь перелетит наскоро с дерева на дерево, и все затихнет... А к ночи издали где-то сова то плачет, как ребенок, то заливается хохотом... Я боялся этих диких, плачевных звуков, а все-таки ходил их слушать.

Каждый год или по крайней мере через год ездили мы в Васильевское. Я, уезжая, метил на стене возле балкона мой рост и тотчас отправлялся свидетельствовать, сколько меня прибыло. Ко я мог деревней мерить не один физический рост, периодические возвращения к тем же предметам наглядно показывали разницу внутреннего развития. Другие книги привозились, другие предметы занимали. В 1823 я еще совсем был ребенком, со мной были детские книги, да и тех я не читал, а занимался всего больше зайцем-векшей, которые жили в чулане возле моей комнаты. Одно из главных наслаждений состояло з разрешении моего отца каждый вечер раз выстрелить из фальконета, причем, само собою разумеется, вся дворня была занята и пятидесятилетние люди с проседью так же тешились, как я. В 1827 я привез с собою Плутарха и Шиллера;

рано утром уходил я в лес, в чащу, как можно дальше, там ложился под дерево и, воображая, что это богемские леса, читал сам о себе вслух; тем не меньше еще плотина, которую я делал на небольшом ручье с помощью одного дворового мальчика, меня очень занимала, и я в день десять раз бегал ее осматривать и поправлять. В 1829 и 30 годах я писал философскую статью о Шиллеровом Валленштейне - я из прежних игр удержался в силе один фальконет.

Впрочем, сверх пальбы, еще другое наслаждение осталось моей неизменной страстью - сельские вечера; они и теперь, как тогда, остались для меня минутами благочестия, тишины и поэзии. Одна из последних кротко-светлых минут в моей жизни тоже напоминает мне сельский вечер. Солнце опускалось торжественно, ярко в океан огня, распускалось в нем... Вдруг густой пурпур сменился синей темнотой; все подернулось дымчатым испарением, - в Италии сумерки начинаются быстро. Мы сели на мулов; по дороге из Фраскати в Рим надобно было проезжать небольшою деревенькой; кой-где уже горели огоньки, все было тихо, копыта мулов звонко постукивали по камню, свежий и несколько сырой ветер подувал с Апеннин. При выезде из деревни, в нише, стояла небольшая мадонна, перед нею горел фонарь; крестьянские девушки, шедшие с работы, покрытые своим белым убрусом на голове, опустили на колена и запели молитву, к ним присоединились шедшие мимо нищие пиферари; я был глубоко потрясен, глубоко тронут. Мы посмотрели друг на друга... и тихим шагом поехали к остерии, где нас ждала коляска. Ехавши домой, я рассказывал о вечерах в Васильевском. А что рассказывать?

Деревья сада
Стояли тихо. По холмам
Тянулась сельская ограда,
И расходилось по домам
Уныло медленное стадо.
(*"Юмор"*)

...Пастух хлопает длинным бичом да играет на берестовой дудке; мычание, бляенье, топанье по мосту возвращающегося стада, собака подгоняет лаем рассеянную овцу, и та бежит каким-то деревянным курцгалопом; а тут песни крестьянок, идущих с поля, все ближе и ближе тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Из домов, скрипя воротами, выходят дети, девочки - встречать своих коров, баранов; работа кончилась. Дети играют на улице, у берега, и их голоса раздаются пронзительно-чисто по реке и по вечерней заре; к воздуху примешивается паленый запах овинов, роса начинает исподволь стлать дымом по полю, над лесом ветер как-то ходит вслух, словно лист закипает, а тут зарница, дрожь, осветит замирающей, трепетной лазурью окрестности, и Вера Артамоновна, больше ворча, нежели сердясь, говорит, найдя меня под липой:

- Что это вас нигде не сыщешь, и чай давно подан, и все в сборе, я уже искала, искала вас, ноги устали, не под лета мне бегать; да и что это на сырой траве лежать?.. вот будет завтра насморк, непременно будет.

- Ну, полноте, полноте, - говорил я, смеясь, старушке, - и насморку не

будет, и чаю я не хочу, а вы мне украдьте сливок получше, с самого верху.

- В самом деле, уж какой вы, на вас и сердиться нельзя... лакомство какое! сливки-то я уже и без вашего спроса приготовила. А вот зарница... хорошо! это к хлебу зарит.

И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся домой.

После 1832 года мы не ездили больше в Васильевское. В продолжение моей ссылки мой отец продал его. В 1843 году мы жили в другой подмосковной, в Звенигородском уезде, верст двадцать от Васильевского. Как же было не съездить на старое пепелище. И вот мы опять едем тем же проселком; открывается знакомый бор и гора, покрытая орешником, а тут и брод через реку, этот брод, приводивший меня двадцать лет тому назад в восторг, - вода брызжет, мелкие камни хрустят, кучера кричат, лошади упираются... ну вот и село, и дом священника, где он сживал на лавочке в буром подряснике, простодушный, добрый, рыжеватый, вечно в поту, всегда что-нибудь прикусывавший и постоянно одержимый икотой; вот и канцелярия, где земский Василий Епифанов, никогда не бывавший трезвым, писал свои отчеты, скорчившись над бумагой и держа перо у самого конца, круто подогнув третий палец под него. Священник умер, Василий Епифанов пишет отчеты и напивается в другой деревне. Мы остановились у старостихи, муж ее был на поле.

Что-то чужое прошло тут в эти десять лет; вместо нашего дома на горе стоял другой, около него был разбит новый сад. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встретили какое-то уродливое существо, тащившееся почти на четвереньках; оно мне показывало что-то; я подошел - это была горбатая и разбитая параличом полуюродивая старуха, жившая подаянием и работавшая в огороде прежнего священника; ей было тогда уже лет около семидесяти, и ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала: "Ох, уже и ты-то как состарился, я по поступи тебя только узнала, а я т-уж, я-то, - о-о-ох - и не говори!" Когда мы ехала назад, я увидел издали на поле старосту, того же, который был при нас; он сначала не узнал меня, но, когда мы проехали, он, как бы спохватившись, снял шляпу и низко кланялся. Проехав еще несколько, я обернулся, староста Григорий Горский все еще стоял на том же месте и смотрел нам вслед; его высокая бородатая фигура, кланяющаяся середь нивы, знакомо проводила нас из отчуждавшегося Васильевского.

ГЛАВА IV

Ник и Воробьевы горы.

Напиши тогда, как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, то есть моей и твоей.

Письмо 1833.

Года за три до того времени, о котором идет речь, мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, то есть по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке; он был перепуган и кричал: "Тонет! тонет!" Но прежде, нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился с тщедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер; он положил его на берег, говоря: "Еще отходится, стоит покачать".

Люди, бывшие около, собрали рублей пятьдесят и предложили казаку. Казак без ужимок очень простодушно сказал: "Грешно за эдакое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочем, - прибавил он, - мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять, покорнейше благодарим". Потом, завязавши деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в урядники. Через несколько месяцев явился к нам казак и с ним надушенный, рябой, лысый, в завитой белокурой накладке немец; он приехал благодарить за казака, - это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас.

Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешел к одному симбирскому помещику, от него - к дальнему родственнику моего отца. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормошить.

Около того времени, как тверская кузина уехала в Корчеву, умерла бабушка Ника, матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног; он привел Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен, испуган; вероятно, он любил бабушку. Он так поэтически вспомнил ее потом:

И вот теперь в вечерний час
Заря блестит стезею длинной,
Я вспоминаю, как у нас
Давно обычай был старинный,
Пред воскресеньем каждый раз
Ходил к нам поп седой и чинный
И перед образом святым
Молился с причетом своим.

Старушка бабушка моя,
На креслах опершись, стояла,
Молитву шепотом творя,
И четки все перебирала:
В дверях знакомая семья
Дворовых лиц мольбе внимала,
И в землю кланялись они,
Прося у бога долги дни.

А блеск вечерний по окнам
Меж тем горел...
По зале из кадила дым
Носился клубом голубым.
И все такую тишиной
Кругом дышало, только чтение
Дьячков звучало, и с душой
Дружилося тайное стремленье,
И смутно с детскою мечтой
Уж грусти тихой ощущение
Я, бессознательно сближал
И все чего-то так желал.
("Юмор")

...Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.

От Мероса, шедшего с кинжалом в рукаве, "чтоб город освободить от тирана", от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюонахте Фогта - переход к 14 декабря и Николаю был легок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна.

Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим бушотовским терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.

- Все так, - заметил юный князь О., - но ведь он был помазанник божий!

Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.

Этих пределов с Ником не было, у него сердце так же билось, как у меня, он также отчалил от угрюмого консервативного берега, стоило дружнее отпихиваться, и мы, чуть ли не в первый день, решились действовать в пользу цесаревича Константина!

Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякий разговор своим присутствием, во все мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться или не написать письмо; я с порывистостью моей природы привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня.

Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом плане, особенно когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего "химического" сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места - Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в шесть или семь утра и, если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему.

Ранние прогулки эти завел неутомимый Карл Иванович.

Зонненберг в помещичье-патриархальном воспитании Огарева играет роль - Бирона. С его появлением влияние старика-дядьки было устранено; скрепя сердце молчала недовольная олигархия передней, понимая, что проклятого немца, кушающего за господским столом, не пересилишь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки; дядька даже прослезился, узнав, что немчура повел молодого барина самого покупать в лавки готовые сапоги. Переворот Зонненберга так же, как переворот Петра I, отличался военным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погоном или эполетами, - но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и *sansgene* филологией или теологией, то, какой бы он ни был статский, все-таки он военный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застегнутые и с перехватом, в силу этого и он был строгий блюститель собственных правил и, положивши вставать в шесть часов утра, поднимал Ника в 59 минут шестого, и никак не позже одной минуты седьмого, и отправлялся с ним на чистый воздух.

Воробьевы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими "святыми холмами".

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были нешуточными делами. В

четвероместной карете "работы Иохима", что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную службу состариться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и не одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было запрещено кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца беспокойно суетливый, тормозящий надзор Карла Ивановича, но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.

В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку на самом том месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.

Запыхавшись и покрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные на этом месте; Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма, который, как Иосиф II сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии, - сделался последним.

Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. Сила сломила в нас многое, но не она нас сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почетны, - свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с богом.

С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни. Там спрашивал меня Огарев, пять лет спустя, робко и застенчиво, верю ли я в его поэтический талант, и писал мне потом (1833) из своей деревни: "Выехал я, и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А все Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги; застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их, но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мной, и эти минуты незабвенны, они, как воспоминание о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес; все было так сине, сине, а на душе темно, темно.

Напиши, - заключал он, - как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, то есть моей и твоей".

Прошло еще пять лет, я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей - А. Л. Витберг. В 1842, возвратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы, мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид и также вдвоем, - но не с Ником.

С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельном

и общем, везде на первом плане он с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим, - на беду ли, на счастье, ли, не знаю, но наверное на то, чтоб не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался большой писанный масляными красками портрет Огарева того времени (1827-28 года). Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки; живописец чудно схватил богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильных черт и несколько смуглый колорит; на холсте виднелась задумчивость, предвещающая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа; таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, взяла чужая женщина - может, ей попадутся эти строки, и она его пришлет мне.

Я не знаю, почему дают какой-то монополю воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь так благоуханна, что она забывает различие полов, что она - страстная дружба. Своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности.

Я давно любил, и любил страстно, Ника, но не решался назвать его "другом", и когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: "Друг ваш или нет, еще не знаю". Он первый стал мне писать ты и называл меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру.

Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, так, как улыбаются, думая о своем пятнадцатом годе. Или не лучше ли призадуматься над своим "Таков ли был я, расцветая?" и благословить судьбу, если у вас была юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у вас был тогда друг.

Язык того времени нам сдается натянутым, книжным, мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое "Bettina will schla-fen", но в свое время этот отроческий язык, этот jargon de la puberte, эта перемена психического голоса - очень откровенны, даже книжный оттенок естественен возрасту теоретического знания и практического невежества.

Шиллер остался нашим любимцем, лица их драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фиеско, что за "всяким" Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнить. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда торжеством, неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном

поколении?

Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь отвечали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлечению. Путь, нами избранный, был не легкий, мы его не покидали ни разу; раненые, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел... не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: "Вот и все!"

А покамест в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, записываю я наши воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, я их дарю тебе. Для тебя они имеют двойной смысл, - смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена.

...А не странно ли подумать, что, умея Зонненберг плавать или утони он тогда в Москве-реке, вытаски его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником или позже, иначе, не в той комнатке нашего старого дома, где мы, тайком курия сигарки, заступали так далеко друг другу в жизнь и черпали друг в друге силу.

Он не забыл его - наш "старый дом".

Старый дом, старый друг! посетил я,
Наконец, в запустенье тебя,
И бывшее опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.

Двор лежал предо мной неметеный,
Да колодезь валился гнилой.
И в саду не шумел лист зеленый,
Желтый, глел он на почве сырой.

Дом стоял обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругом,
Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.

Я вошел. Те же комнаты были,
Здесь ворчал недовольный старик,
Мы беседы его не любили.
Нас страшил его черствый язык.

Вот и комнатка: с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой.
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.

В нее звездочка тихо светила,

В ней остались слова на стенах:
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.

В этой комнатке счастье былое,
Дружба светлая выросла там;
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,
На кладбище я будто стоял,
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал.